

*Полковнику
Владимиру Михайловичу
Житаренко — журналисту,
погибшему на чеченской войне.*



**К-ТЮБИНСКИЙ ГАРНИЗОН.
113-Й МОТОСТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК МО РФ
(В/Ч 12345)
(Конец XX столетия)**

Лаврентьев заснул на «панцир-кровати» полулежа, опершись спиной на карту неподделенной еще родины, аккурат там, где была Таджикская Советская Социалистическая Республика. Ресницы его подрагивали, будто грезились ему в полудреме яркие вспышки усопшего дня; в полуприкрытых глазах отражались желтые лучи керосинки, серебристыми опилками отсвечивала отросшая щетина, на воротнике топорщились темно-русые космы. Крепкие узловатые кулаки подрагивали на заправленном по-уставному одеяле синего цвета, пальцы были сжаты — то ли от злости, то ли от глубоко запрятанной боли. Наверное, все нутро у него страдало, источенное язвами от хреновой жизни.

Когда человек спит, он обнаженно-беззащитен. Лаврентьев спал — почти не дышал. Даже не храпел, как обычно, — обессилел. Потрескавшиеся губы, массивный подбородок, безвольно опущенный на грудь. Не Лаврентьев, привычный энергоноситель, а полудохлая рыба, болезненная, загнанная в сеть...

Ольга тихо отворила дверь, осторожно опустилась на стул перед забывшимся Лаврентьевым, подумала: «Мне кажется, что я знаю про него почти все».

За черным окном перешептывались длинные ветви тополя. Они будто хотели заглянуть в маленький желтый кусочек окна и выяснить, почему обитатели дома прячутся за спинами и животами бесформенных толстяков, которые вповалку неподвижно лежали на подоконнике аж до самой форточки. Мешки на окнах имеют свойство преобразжать любое помещение, навевая неистребимую складскую тоску.

Один мешок прохутился, из него серой стружкой сыпался песок. Ольга проследила взглядом: на полу вырос маленький холмик. «Как в песочных часах, — подумала она. — Только в обратную сторону уже не повернешь.» И еще она вспомнила поразившую ее фразу о старых людях, из которых тоже песок сыплется: неужели это правда? Она поежилась, почувствовала мимолетную тревогу и, чтобы успокоиться, пристально всмотрелась в Женечкины черты. «И вовсе не такой он старый!» Даже сейчас, когда его лицо продолжало хранить болезненное напряжение, оно действовало на нее успокаивающе.

Оля незаметно для себя задремала, ощутив сквозь сон, что дыхание их попало в такт, и это необычное единение приятно поразило ее. Только у нее вздымалась грудь, а Женечка, как и все мужчины, дышал животом, ему мешал туго стянутый ремень. «Мне не стыдно смотреть на него», — подумала она. Оле захотелось погрузить пальцы в его отросшие рыжеватые волосы, схватить и подергать бакенбарды, притянуть к себе, прижать к груди эту глупую и нелепую голову. Она протянула руки, но в последнее мгновение, сожалея, медленно отвела. Она попыталась вспомнить, когда последний раз спала с мужчиной. С кем — помнила, но вот когда...

С некоторых пор мужские человеки вызывали у нее беспричинное раздражение, она устала быть в их глазах сексуальной жертвой. Особенно выводили ее из себя местные. Особенно после «суверенизма», по причине которого население просто стонало от счастья. Наиболее прыткие лица мужского рода сразу же бросились «приватизировать» всех «некоренных женщин».

Комната неожиданно поплыла. Чтобы удержать ее, Ольга судорожно схватилась за Женькино колено, иначе бы рухнула с грохотом.

Лаврентьев вздрогнул, поднял припухшие веки.

— Чего тебе?

— Извините, я случайно, — сипло произнесла Ольга.

— Иди спать!

Она поспешно встала, отодвинула стул. Коптилка мигала, высасывая последний керосин.

— Черт, из Москвы должны позвонить! Этот...

— Там уже все спят. Давно...

— Должен позвонить этот... Ч-чемоданов! — Он покосился на короткую юбчонку Ольги. — Какого черта так вырядилась?

— Жарко, — произнесла она заранее приготовленный ответ и почувствовала, как по обнаженным ногам пробежал холодок. «Дура набитая! Только это ему сейчас и надо!»

Лаврентьев действительно забыл про Олины ноги, он отхлебывал из кружки холодный чай и затягивался сигаретой. Пепел сыпался на колени.

Скрипнула дверь, появилась голова в очках, за ней проскользнул и сам хирург Костя по кличке Разночинец. Он молча подошел к Лаврентьеву, слегка пошатнулся, его очки тревожно блеснули. Костя стал неторопливо раскладывать на столе различные вещички: зеркальную коробочку со шприцем, пузырек, ватку, потом он задрал у клиента рукав и, прыснув из иглы в небо, воткнул ее в руку. Так же бессловесно Разночинец собрал

эти почти культовые предметы и уже направился к двери, когда лаврентьевский голос его остановил:

— Ты опять пьян. Посадил бы тебя на «губу», но сейчас это было бы слишком экстравагантно. Спирт остался?

— Принести?

— Не надо. Докладывай.

— Принял роды. Мальчик.

— Хорошо. Это к войне.

— Заштопал трех аборигенов.

Лаврентьев задумался. Костя решил, что самое время улизнуть: впрыснутое начнет рассасываться, шефу станет хорошо, в прогалинах черепной коробки — отчетливо и свежо, потом начнется энергетический позыв к действию, а ведь ему, Костику Разночинцу, очень хотелось спать. Уйти, прихватив оставленный за дверью еще теплый от солнца автомат калибра 5,45, пуля — гуляка-телорванка. Он, хирург, и то ужаснулся почти до рвоты, когда впервые увидел, что натворил этот заостренный кусочек тускло-желтого цвета.

Костя осторожно попятился к двери, но Лаврентьев снова остановил его:

— Садись, будешь писать.

Костя обреченно сел, снял очки, стал протирать глаза, потом стекла. Закончив, придвинул большую книгу с разлинованными синими листами: в ней что-то учитывалось.

— Сегодня на этом столе лежали три миллиона рублей и два золотых слитка. Очень приличных. Они хотели, чтобы я продал им три танка.

— А кто это был? — испуганно спросила Ольга.

— Не перебивай! — сверкнул белками глаз Лаврентьев. — И один из них, Салатсуп, или Супсалат, выложил на стол гранату и сказал, что подорвет меня на хер и всех их троих заодно, если я не уступлю. Но (это, Костик, выдели толстыми буквами) гвардии подполковник Лав-

рентьев в сложившейся экстремальной ситуации не дрогнул, проявил хладнокровие и воинскую смекалку, уверенно и четко послал представителей Нацфронта на хер. Что они незамедлительно и исполнили. Жертв и разрушений нет... Этого же дня была обстреляна машина, направлявшаяся во второй караул. Ранен в руку офицер Скоков. Навылет...

Лаврентьев потянулся за сигаретой, почесал заросший щетиной кадык.

— Двадцать лет назад у меня была тысяча возможных вариантов судьбы, хотя сам я был зеленым огурцом с желтой рисочкой на правом или, не помню, левом рукаве. Престижный юноша, помышлявший о заграничных землях демократических друзей по временной идеологии. Все оказалось еще более временно, да так, что я не успел добраться до этих самых друзей. А многие мои однокурсники успели. «Друзья» же почему-то перестали дружить и стали обзывать в наш адрес. Когда лев уходит, все мартышки — триумфаторы. Верещат в своем обезьяннике, пердят и радуются... По выпуску мы все, как один, обзавелись фарсово-утонченной деталью туалета — лаковыми сапогами с зеркальными раструбами и вставками из китового уса. Да-да, это было очень модно. Не знаю, сколько там китов перебили. Сейчас этого шика не понимают.

— Это все записывать? — подал голос Костя, чуть не падая со стула.

— Это — необязательно, — ответил Лаврентьев, он же — пора об этом сказать — гвардии подполковник, командир проклятого богом 113-го мотострелкового полка Российской империи. — Перед выпуском я, правда, уже не имел тысячи фантастических помыслов — гораздо меньше. Подвистники кадрового труда в училище сузили мне горизонт до пяти округов, причем самых скверных. В душе я вскричал на распределении: «Чтоб

вас, отъевшихся москвитян, самих пнуть на Бузулук с Тайшетом, под Читу с матерью!» Но вслух скромно молвил: «Готов служить там, где прикажет Родина-мать!!!» Мой ответ почему-то никакого впечатления не произвел, никто не бросился меня обнимать, жать руку, поздравлять с безусловной патриотичностью, пятибалльностью характера, лояльностью и всеми моими новоиспеченными лейтенантскими качествами. — Лаврентьев закашлялся. — Ты что, записываешь? Зачеркни! Хотя оставь. Пусть будет как у фюрера: личный летописец. Биограф...

Третьи сутки он не смыкал глаз и уже предвкушал появление галлюцинаций... Костя уснул, открыв щербатый рот, очки сорвались, зацепившись дужкой между ног. Ольга поминутно вздрагивала, поднимала голову, мутно взирала на Лаврентьева, на сверкающую шприцевую коробочку — лучик сверлил глаза. Она продолжала клевать носом, и желтый лучик, преломивший огонь керосинки, бледнел, обтекал тихо и ласково, успокаивал теплой сытостью золота...

Она встала и, чтобы стряхнуть сонливость, провела ладонями по лицу.

Разночинец ушел. Лаврентьев курил, стряхивая пепел мимо пепельницы.

— Евгений Иванович, я давно хотела спросить вас... Вот вы уже три года без отпуска, все время здесь, в полку, ведь это ненормально, никаких человеческих сил и терпения не хватит.

— Да, Олечка, это и у меня за гранью понимания.

— Вы простите мою навязчивость, наверное, я бестактна, лезу вам в душу... Вы не смеетесь надо мной?

— Не смеюсь, лезьте дальше. — Лаврентьев подавил зевок, хотел извиниться, но передумал.

Ольга свела коленки, обхватила их руками, будто внезапно озябла, потом распрямилась, глянула в глаза

Лаврентьеву, ожидая увидеть самое неприятное — иронию, насмешку, даже презрение. Но Женечка смотрел печально и устало, и Ольга мысленно поблагодарила бога за то, что не поторопилась заговорить о сокровенном, о том, что мучило ее, не давало покоя ее бабьей натуре: почему «неоприходованный мужик» три года живет бобылем, имея при этом жену, сына.

Всех полковых дам занимало это несоответствие. Завидев угловатого дерганого подполковника, злого на язык, у которого вот-вот вместо слов вылетят острые гвозди и шипы, а то и пулеметная очередь, они шурились, усмехались украдкой и делали вывод: хороших женских рук нет для Лаврентьева. Дамы побаивались комполка, торопливо здоровались первыми и дефилировали далее, как правило, произвольно усиливая виляющее движение бедрами. В этом крылась какая-то загадка, нравы в полку не отличались от среднестатистических: как и везде, здесь от 12,5 до 19,75 процента женщин изменяли хоть раз в супружеской жизни. Обыкновенные цифры. Но вот при виде хмурого командира в/ч 12345 всех женщин помимо воли начинало «раскачивать». Этим интересным наблюдением поделилась однажды в узком кругу супруга «энша» — начальника штаба — Вероника Штукина. После этих откровений за спиной Штуки, как прозвали ее, звучал срамной, с оглядкой, смешок. Впрочем, подхихикивая, каждая знала и за собой этот странный позыв к раскачке — от неясных желаний, томления, гарнизонной скуки, бедной на эмоциональные переживания...

— Ну говори, что хотела? — недовольно спросил Лаврентьев. — Рапорт на отпуск, звание «прапорщик Российской Федерации»?

— Никак нет, товарищ подполковник. — Ольга мгновенно поджала губы, будто ей показали крепкую витую плеть. Она встала, продемонстрировав стойку «смир-

но», свела коленки вместе, хотела еще выпрямить по-солдатски грудь, но не стала, ни к чему сейчас было. «Что-что, а этого не получишь!» — со злорадным тщеславием подумала она, зная цену упругой тяжести, которой ее наградила природа.

— Сядь. А лучше сделай чаю.

— У меня кофе есть, — сказала она.

— Сделай кофе.

Она вышла, Лаврентьев переместился за стол, на котором находились папка с приказами, стакан с потекшими ручками, сломанными карандашами, а также обрезанная под основание снарядная гильза, которая служила пепельницей. Рядом матово отсвечивал тяжелый черный телефон, который болезненно вздрагивал от неручных звонков, — сейчас забывшийся в коротком полусне, но все еще переполненный чьими-то голосами, криками, матом, треском, хрипом...

Лаврентьев вдруг испытал желание поднять трубку, выйти на «Рубин» — в столицу Федерации, пока еще была телефонная связь, и от души нахамить какому-нибудь заспанному дежурному генералу в штанах с примявшимися лампасами, ошарашить убийственной «прямой речью», чтоб у того коленки подкосились, чтоб поразить в душу, неожиданно, как плевком из унитаза. «Товарищ генерал, тут такие дела, короче, кофе закончилось! Что-что... Сам-то небось пьешь сейчас? А ежели не пришлете, будем на танки менять! Чего-чего... Знамо дело — на кофе! А, уже проснулся, голубчик! Что это я такое позволяю себе, и кто я таков? Да, так точно, командир 113-го полка, нос до потолка. Нет, я вполне нормален. Где мой заместитель? Повез личный состав полка на Черное море — купаться. А я тут один, самолично... Ну ладно, покедова. Столице привет, товарищ генерал. Да ты не огорчайся, я понимаю, надо ж, угораздило, прямо на твое дежурство такие звоночки. А ты не

докладывай. Ну ладно, давай, будь здоров, смотри там, чтоб все по уставу, не маленький, генерал все же!»

Лаврентьев обожал московских генералов. Паркетные тихони генштаба, они на оперативных телефонных просторах превращались в величавых полководцев, лучезарных и мудрых наставников, суровых и требовательных радетелей за державу. В последнее время они все чаще обрушивались на Лаврентьева массой звонков. Но повышенное внимание выражалось не в материальной помощи, а во множестве указаний, которые он получал по всем аспектам жизни и службы. Лаврентьев также отвечал на всевозможные, по большей части странные вопросы, и его ответы, вероятней всего, затем использовались как начинка для докладных записок, всяких там справок и отчетов.

Ольга принесла чайник с горячей водой, насыпала в чашки растворимый порошок, поставила привычно на край стола. Они стали пить черную жидкость, еле теплую, с островками непотопляемого порошка. В принципе «островки» не мешали. Ольга радовалась, что сохранила остатки кофе. Лаврентьеву тоже было неплохо.

— Вы простите меня, Евгений Иванович, — решила Ольга. — Мне все равно, конечно, но вот наши бабы, а они, знаете, какими могут быть злыми, языкастыми, мстительными...

— Да что ты говоришь, никогда бы не подумал!

— Да... И знаете, что про вас говорят, что вы как бобль живете?

— Что я педик?

— Нет. Говорят, что вы уже обессиленный и вас только что жалеть осталось, монах, говорят, святой, все силы только на службу.

— Правильно говорят. И что ты хочешь от меня в связи с этим? Юбку не по уставу, выше нормы задрала.

— А где норма, Евгений Иванович? — Ольга глянула

на свои ножки, двумя пальчиками коснулась края юбочки.

— Норма — в личной порядочности и скромности, девушка. Я твой командир, но это вовсе не значит, что мне должно хотеться прямо аж до залысения головной части... Травим тюльку... Костя дозу мне врезал, чтоб ваш кормчий продолжал функционировать. — Лаврентьев говорил размеренно и монотонно. — Черт бы побрал наше заборное эрзац-общество! Среди грязного веселья эти фундики и фантики, фокусы и покусы... Я могу раздолбать к едрене фене всю эту свору, сжечь всю долину, а реку выпарить в банную пыль!

Фундиками в этих жарких землях называли приверженцев фундаментализма, а фантиками, по подобию, — их заклятых врагов из Национального фронта, подразумеваемая свойственный им фанатизм.

— Женя!

Ольга уже знала, что Лаврентьев стал быстро заводиться, и она незаметно переходила на «ты». Торопясь сказать важное, он не замечал, точнее, не слышал, перебивал. Разговор был одним и тем же: что есть сила, что он всех в кулак сожмет, прищучит, разнесет в пух и прах всех фундиков и фантиков, потом примет мировую, посадит тех и других в столовую, заставит лопать плов, шурпу, шашлык, лагман, манты, потом русский борщ, пельмени, кулебяки, расстегай... — чтоб всех раздуло, как подгулявшую мартовскую жабу. А потом свалить их в один зиндан — яму, в которой познаются тонкости восточного гостеприимства, и не выпускать до тех пор, пока не просвилятся и не помирятся. «Вожди-шишаки, — говорил командир, — умные люди. В конце концов между собой разберутся, помирятся. Вся беда в том, что благие их помыслы почему-то не всегда по душе народу...»

После запальчивых речей Лаврентьев остывал при

помощи простого способа: открывал шкаф, где стоял молочный бидон, черпал кружкой коньяк, глотал, предлагал ей, она отказывалась. Иногда ей удавалось пресечь попытки на полпути к шкафу. Она безошибочно ловила этот момент. Точность и мгновенность Ольгиной реакции действовали неотразимо.

Лаврентьев отправил отдыхать уснувшую Олю, которая так и не сказала главного, сокровенного. Она не проснулась и ушла в свою темную комнатку, передвигаясь как сомнамбула. После чего Евгений Иванович побрился тупым лезвием «Шик», причем «насухо» — с водой мороки было бы больше, да и не хватало ее. После этой операции он вылил на лицо остатки одеколона и приказал часовому у дверей не будить его, даже если на стадион начнет падать китайский десант, а в реке всплывет американская атомная субмарина «Посейдон». Часовой, из прапорщиков, щедро заулыбался, обнажив коричневые десны, кивнул каской... Вот, пожалуй, все, что запомнил на этот утренний час Е. И. Лаврентьев, гвардии подполковник, командир 113-го полка. Он заснул крепко, как и положено донельзя уставшему, но счастливому человеку.

Вряд ли кого интересовало, какие горячечные видения тревожили Лаврентьева. В его ногах молча стояли трое крепколобых мужчин, напоминая своим безучастным видом консилиум, на котором никто не отважится произнести вслух роковой диагноз, чтоб затем приступить к развязке. Рядом с кроватью стояли: майор Штукин, хирург Костя с принадлежностями для инъекций и прапорщик-охранник, вооруженный автоматом. Штукин в этом «консилиуме» являл собой «вершителя судеб», Костя, разумеется, врачевателя, а прапорщик с автоматом символизировал неотвратимую смерть. Все трое по привычке прислушивались к звукам выстрелов, коротких очередей и взрывов за окнами. Они пришли,

чтобы прервать сон командира и посмотреть на его реакцию: над плацем летают пули, срезают верхушки деревьев, с визгом влетают в стены, откалывая штукатурку, и, что особенно печально, пока невозможно определить, какая из сторон так настойчиво обрабатывает нейтральную зону, которой и являлся 113-й полк.

— Евгений Иванович, — произнес Штукин.

— Товарищ гвардии подполковник, — позвал командира Костя Сеницын.

— Подъем, — после долгой паузы не очень уверенно подал голос прапорщик, вспомнив свое недавнее старшинское прошлое, которого лишился по причине отсутствия личного состава.

Командир поморщился, приподнялся, сел, прислушался.

— Стреляют?

— Со всех сторон лупят! — торопливо стал докладывать Штукин. — Люди все по боевым расчетам.

— Через забор не лезут?

— Кто? — уточнил Штукин.

— Ну не наши же...

— Нет... Пока нет.

— Как полезут — стрелять на поражение, — сказал Лаврентьев.

Лаврентьев вышел в коридор, миновал сонно мигающего дежурного за стеклом, вышел из дежурки и уже на улице пристроился за капитаном и прапорщиком.

И в самом деле, выстрелы доносились со всех сторон. А рядом, на футбольном поле, стоял многоголосый вой беженцев. С неделю назад они прорвались в полк, заполнили буквально каждый свободный метр, все пустующие помещения, спасаясь от лиходейства своих земляков. День и ночь они молили судьбу и всевышнего о пощаде, о каре для врагов, а в затишье просили воды, кормежки, кричали, угрожали, требовали навести поря-

док в городе, то есть перестрелять всех гонителей и мучителей.

И тут, как раз за столовой, все увидели темные фигурки, штурмующие забор. Беженцы тоже увидели их, и вой стократно усилился — страшный женский вой.

Офицеры открыли огонь. Первыми упали те, кто успел перелезть через забор. Потом на главной аллее прапорщик-часовой установил пулемет Калашникова и тут же тугой очередью ударил в сторону ворот. А с той стороны тяжелым грузовиком таранили железные прутья. В него впиалась кинжальная очередь, он застыл, уткнувшись слепо в ворота. Наконец, на башенке бронетранспортера включился крупнокалиберный пулемет, прошелся по кромке бетонного забора, круша ее в пыль, стальные «жуки» с хрустом впивались в стволы деревьев, вырывая огромные щепки. Боевиков как сдуло.

Боевая машина рванулась к воротам, полоснула очередью по грузовику, тот вспыхнул, с оглушительным хлопком рванули бензобаки. На фоне языков пламени красные звезды на воротах КПП выглядели зловеще и символично.

По аллее возбужденно прохаживался, потирая руки, полуоглохший прапорщик-часовой (кавказской национальности) и, ни к кому не обращаясь, говорил:

— Хорошо я им вмочил! Ух, как ответственно впиндюрил!

И все, в том числе Лаврентьев, понимали, что прапорщик-пулеметчик вовсе не красуется перед командиром с определенной практической целью. Все знали, что прапорщик имел облегченное представление о радостях жизни, всем сердцем полюбил здешнюю бардачную войну и его даже не тянуло на Кавказ к воюющим соплеменникам.

Иосиф Георгиевич Шрамм мысленно обмакнул перо в чернила и стал писать. Пользовался он, конечно, обычной шариковой ручкой, хотя давно мечтал завести перьевую, но все как-то не получалось. Он считал себя человеком старомодным, отрастил бородку клинышком, носил очки в золотой оправе и все собирался завести сюртук. После каждой встречи с пациентом он делал записи в тетради, на обложке которой значилось: «Доктор И. Г. Шрамм». Хотя доктором в смысле научно-иерархическом не был.

Работал Иосиф Георгиевич в психиатрической клинике, между прочим, главным врачом. Втайне он считал себя крупнейшим специалистом и, безусловно, одним из выдающихся людей города. Город об этом не догадывался, впрочем, был он никчемным, скучным. Обыкновенная южная провинция, в которой жили обыкновенные, нормальные, славные люди, вели размеренный, здоровый образ жизни, и, конечно, ни к чему была здесь огромная, просто оскорбительно огромная лечебница для душевнобольных.

В эту же минуту Иосиф Георгиевич аккуратно выводил: «Больной Цуладзе Автандил отличается слабыми тормозными процессами... — Тут доктор вспомнил, как больной назвал его приспособленцем, и решительно дописал: — И крайне низким уровнем сознания и эрудиции».

Многих больных перевидал на своем веку Шрамм. Его душили, разбивали в кровь лицо, ломали руку, давили с хрустом его золотые очки. Но именно Цуладзе по-особому растревожил и расстроил доктора, да так, что не хотелось и признаваться в этом... Тут надо сказать, что Иосиф Георгиевич был давним тайным сторонником фрейдовского психоанализа, не изменил ему и в постсоветскую эпоху. И вот сейчас в его душе поселилось беспокойство. Он пытался отогнать навязчивую

мысль, заставляя себя считать, что ее нет. Но в том-то и дело, что она была и по всем известным доктору правилам разрасталась в невроз, буквально натирала мозоль в его голове. Мысль же была следующая: «Я ничтожество, я подавляю свои комплексы и жалко сублимирую в своей писанине, которая на хрен никому не нужна!»

Неделю назад жена сообщила ему о своей беременности, такой несвоевременной и нелепой, когда вокруг все рушится, все ненадежно и прежнее благополучие рассыпается, как дом из песка. Людочка была на двенадцать лет младше его. У них росла дочь. Два старших сына Иосифа Георгиевича от прошлого брака жили отдельно... Но вот что самое ужасное: супруга надумала рожать! А накануне доктору приснился гадкий сон: будто он в исподнем качается на доске с каким-то мужиком, а его Людочка, тоже в исподнем, идет навстречу и вдруг садится на сторону незнакомца. Доска перевешивается, он повисает в воздухе, ему очень страшно, он сучит ногами, а супруга и тот мужик бурно целуются.

Утром, проснувшись и глянув на спящую жену, он отчетливо понял, что ребенок не от него...

Доктор снова захлопнул свою тетрадь и вызвал старшую медсестру. Аделаида Оскаровна, женщина сорокалетнего возраста, молча устала на Шрамма.

— Как там Малакина, по-прежнему не кушает? — спросил доктор.

— Нет. Пытались кормить насильно — так она кашляет, выплевывает. А еды и так не хватает.

— Может, ее усыпить? — в раздумье произнес доктор.

— Наверное, придется, — тут же согласилась медсестра.

— Да, вот еще что. Сделайте больному Цуладзе инъекцию однопроцентного раствора апоморфина.

— Апоморфина?! — Черные брови Аделаиды Оскаровны вздрогнули, глаза еще более округлились. — Но ведь он вызывает сильные приступы тошноты, рвоту.

Шрамм строго посмотрел на старшую медсестру:
— Начинаем новый курс лечения. По специальной методике.

Про себя он злорадно подумал: «Пусть прочувствует, как меня тошнит от его блаженного умничанья!» После чего он сделал приписку в тетради: «Попробуй, сволочь, апоморфину в задницу!» И отметил заметное улучшение настроения.

Худшие предположения доктора подтвердились: жена ему изменила, и не просто с кем-то, а с человеком, который уже при жизни стал легендой, устрашающим символом для врагов, всесильным и могущественным мессией, кумиром масс. Это был не кто иной, как Лидер национального движения республики — Кара-Огай. Штаб-квартира его находилась волею судьбы в К. Буквально на следующий день после мучительных размышлений и догадок доктор увидел супругу в белом «Мерседесе» Лидера и сразу все понял по ее глупо-счастливому выражению лица. Иосиф Георгиевич почувствовал боль и опустошение. Он как раз собирался идти домой, но повернулся и потерянно побрел обратно в клинику, открыл свой кабинет, зачем-то достал свою тетрадь, рассеянно перелистал ее, схватил ручку, тут же бросил ее и расплакался.

«Ну все», — с тоскливой отрешенностью подумал Иосиф Георгиевич. Его тетрадь по-прежнему лежала раскрытой, и он написал поперек листа: «Я — рогоносец».

Из больницы Иосиф Георгиевич вернулся поздно вечером. На столе он увидел клочок бумаги, который оказался запиской. Доктор поспешно взял ее, и буквы запрыгали перед глазами.

«Вся моя жизнь с тобой была сплошной ошибкой, —

с недоумением, переходящим в ужас, читал он размашистые строки. — Твои невыносимые причмокивания за обедом, твои вывернутые ноздри, руки в старческих веснушках, твои глупости и умничанье! Меня тошнит от всего, что связано с тобой. Прости, но я не могу, меня медленно убивает твой запах, напоминающий прокисшее молоко. Мне надоело стирать твоё вонючее бельё и ещё более вонючие носки. Кроме того, ты — ЧМО и в достаточной степени идиот, как и все твои друзья в психушке, и мне доставляет огромное удовольствие сказать тебе об этом. Мне всегда не хватало настоящего мужика, который драл бы меня как козу. Кстати, ребенок мой будущий не от тебя. Не вздумай меня искать. Это бесполезно и даже опасно. Будешь приставать — тебе оторвут все выпуклости. Я уйду к Кара-Огаю. Дочка пока будет у мамы, потом я её заберу. Алименты оставь себе. Извини за немного резкий тон. Спасибо за совместную жизнь. Будь здоров. Не твоя Людмила».

Нетвердой походкой доктор дошел до дивана, грузно рухнул на него, судорожно вцепился в подлокотник и разрыдался бурно, страшно и чуть-чуть театрально.

Тут его осенило: да ведь это неправда, это просто шутка! Люся куда-то спряталась, она разыгрывает его. Сейчас он найдет её, она засмеется, нехорошая маленькая проказница, он тоже засмеется вместе с ней, вытрет слезы и попросит больше никогда так не шутить, потому что это жестоко и очень обидно... Доктор бросился в другую комнату, открыл шкаф. Все её вещи висели на месте, и это укрепило уверенность доктора. Он бросился на кухню, где со вчерашнего дня в раковине оставалась грязная посуда. «Вымою, вымою, все сделаю, лишь бы отыскалась!» — всхлипывая, думал Иосиф Георгиевич.

Но Люси не было — ни в туалете, ни на балконе, ни под кроватью. Доктор постарался совладать с собой.

— За любовь надо бороться! — прошептал Иосиф Георгиевич и поразился неожиданной глубине и емкости этой фразы.

Доктор выскочил на улицу, даже не прикрыв двери. Он припустил по темной аллее, постоянно натываясь на кучи мусора. В конце концов ноги сами повернули к зданию горсовета, где располагался штаб. «Сидит там при старикане Кара-Огае, поджав под себя ноги, пьет чай из пиалы», — наглядно представил Шрамм.

Что-то разорвалось, на мгновение ослепило и оглушило доктора, и он инстинктивно пригнулся. Шибануло гарью. Он понял, что ему едва не отстрелили ухо.

— А ну — стой! Руки за голову! — рывкнули из темноты.

Доктор немедленно подчинился.

— Точно — фундик! Давай сюда.

Ноги у доктора отяжелели, как во сне, он шагнул в сторону голосов, продолжая держать руки за головой. И прежде чем различил лица, получил некрепкий удар в челюсть, покачнувшись, но мужественно удержался на ногах.

— Давай живо к стенке!

Спотыкаясь, ничего не понимая, Шрамм подчинился, застыв у стены незнакомого дома. «Главное — не перечить им, ведь я ни в чем не замешан», — лихорадочно успокаивал он себя, хотя хорошо знал, что в нынешние времена людей приканчивали просто от скуки.

— Фундика заловили! — раздался торжествующий голос.

— Надо его замочить! — добродушно отозвался другой.

Доктор не был искушен в жаргоне, но понял моментально, что дела его — скверней не придумаешь.

— Повернись! — крикнули у него над ухом.

Доктор торопливо выполнил команду.

— Урюк, через какое плечо поворачиваться надо?
В лицо ударил свет фонаря, а в боку он почувствовал ствол автомата.

— Отставить! — последовала команда.

Доктор послушно повернулся через левое плечо, как учили когда-то на военной кафедре мединститута.

— Фундик? Лазутчик? Отвечай, собака!

— Я никакой вам не фундик. И не собака! — оскорбленно ответил Иосиф Георгиевич. — Я доктор медицины.

— Доктор? — Один из незнакомцев рассмеялся. — И куда ж ты собрался так поздно? Клизмочку ставить? Или укольчик в попку? Говори!

— Я ищу свою жену, — чистосердечно ответил доктор.

Люди, а их уже собралось немало, от души рассмеялись.

— Опоздал, дядя! Ее, наверное, уже где-то оттягивают.

Кто-то сзади схватил его за волосы, резко рванул голову назад. Другой приставил нож к горлу.

— Говори, пес, куда шел?

— Мне в горсовет... — хрипло проговорил он.

— Ага, сознался! — обрадовался мужчина с короткой бородкой, видно старший. — Сейчас ты у нас все расскажешь, фундик гребаный, грязь болотная, дерьмо свиное...

— Салатсуп, да это же доктор психушный! Он в дурдоме работает. — В круг протиснулся парень, которого, как и остальных, Шрамм видел первый раз в жизни.

— Доктор, говоришь? — заинтересовался Салатсуп. — А раны огнестрельные лечить можешь?

— Нет-нет, — поторопился отказаться Шрамм, сразу уловив, какую перспективу ему хотят предложить. — Я психиатр, это совершенно другая, понимаете, кардинально другая специальность.

— Что такое — «кардинальная»? — строго спросил Салатсуп.

— Ну это, как сказать лучше, — заторопился доктор, — ну это совсем другая работа. Я лечу душевные болезни, и никакие другие. И если нужны консультации в этой области...

— Ты, старый дуралей, считаешь, что мы психи? — взорвался кто-то из молодых. — Фундиков иди лечить, козел.

В конце концов боевикам надоело потешаться над доктором, а когда они узнали, где собирается Иосиф Георгиевич искать свою жену, приумолкли. Салатсуп по-хорошему посоветовал проваливать поскорей домой, укрыться одеялом, а наутро забыть все, что хотел сделать ночью. Доктора подтолкнули и посоветовали идти по освещенной стороне, чтобы случаем не подстрелили.

Люсю он увидел уже утром, недалеко от горсовета. Она сидела в белом «Мерседесе» Лидера, с царственной небрежностью развалясь на заднем сиденье. Слепительно белые волосы в беспорядке рассыпались на бархатных чехлах. «Как она совершенна и безупречна!» — с болью подумал доктор. Он тут же заметил на ней новое ярко-красное платье со стоячим воротом и глубоким вырезом на груди, который подчеркивал красоту ее гибкой шеи и матовой кожи... Возле машины скучал битюг в черной куртке с автоматом на плече.

Подойдя, он решительно рванул дверку, но она не поддавалась. Тут же битюг, вскинув автомат, бросился к нему.

Люся, к счастью, вступилась. Открыв окно, она властно крикнула:

— Курбан, оставь его! Это мой... знакомый.

— Выходи, пойдешь домой! — Он предпринял последнюю энергичную попытку, даже просунул руку за стекло, чтобы добраться до ручки.

Она натужно рассмеялась, обнажив белые зубы. Охранник покосился на них, ухмыльнулся и покачал головой. Он курил «Мальборо».

«Какие у нее колючие глаза!» — подумал Иосиф Георгиевич, мучительно сознавая, что несправедливая ее ненависть высасывает ему душу, изнуряет, приносит страдания. И вдруг он почувствовал, как накатило, наплыло болезненное наслаждение.

— Не бросай! — застонал он. — Не бросай. Хочешь — изменяй, рожай от него детей, только не уходи! Не будь настолько жестокой. Хочешь — бей, плюй на меня, но не уходи. У нас же дочь, пойми, ей нужен отец.

— У нее будет настоящий отец.

— Я имею права!

— Ты всегда был занудой. — Она прищурилась. — Если не будешь действовать мне на нервы, я разрешу тебе иногда встречаться с ней. И имей в виду: мне достаточно сказать одно слово, и из тебя вынут все внутренности, а твою голову наденут на палку и отнесут к твоим психам. Тут у них новая мода появилась — голову отрезать. Не хотелось такое говорить, но сам знаешь, они на все способны. Да, возможно, через пару-тройку дней заеду, возьму что-нибудь из моих тряпок. Пустишь?

Она отставила в сторону ногу, специально, чтобы она показалась в разрезе, играючи, притопнула. Было, было, что показывать. Охранник, вывернув голову, глянул плотоядно, клацнул зубами.

Люся проворно прыгнула на сиденье. Иосиф Георгиевич поторопился прикрыть дверь. Как он потом корил себя за эту плебейскую услужливость: сам, своей рукой оторнул любимую женщину! И еще дверцу прикрыл. «Мерседес» рванулся белой птицей, бесшумно набрал скорость, оставив позади черные обожженные дома, развалины, грязь и мерзость жизни, а также несчастного доктора Шрамма.

Лидер Национального фронта приехал на черной «Волге» в сопровождении еще двух машин с охраной. Лаврентьев распорядился пропустить только «Волгу». Кара-Огай, седобородый, кряжистый, в распахнутой кожаной куртке, с кобурой на поясе, вылез из машины неторопливо, со старческой грузностью, поднялся по ступенькам на крыльцо. Лаврентьев первым протянул ему руку, тот крепко сжал ее своей огромной ладонью, и командир подумал, что хватка у старика по-прежнему завидная. Вместе с Лидером приехали полевой командир Салатсуп и девица неопределенных лет в потрепанных джинсах, ее сопровождал вертлявый паренек с тонкими губами.

— А это кто? — спросил Лаврентьев, ткнув в их сторону.

— Американское телевидение, — ответил Кара-Огай.

— На кой черт ты их привез?

Лидер не ответил. Девица подошла, виляя бедрами, и залепетала что-то на своем. Парень тут же стал переводить:

— Господин подполковник, мы представляем компанию Си-эн-эн. Корреспондент Фывап Ролджэ, — он показал на напарницу, — и я, Федор Сидоров, оператор. Мы хотели бы попросить вас ответить на несколько вопросов.

— Мне некогда.

Оператор стал нервно переводить, девица учащенно задышала, повернулась к Кара-Огаю.

— Уважаемый Лидер Национального фронта! — торжественно заговорил парень. — Согласитесь ли вы ответить на некоторые наши вопросы?

— Я готов ответить на любые вопросы.

Парень поспешно стал готовить аппаратуру.

— Каковы цели и задачи вашего движения?

Кара-Огай удовлетворенно кивнул, заговорил размеренно, без пауз. Фразы его были округлыми, будто отлитыми из крепкого металла.

— У каждого народа своя судьба. Наш многострадальный народ многое вынес, вытерпел, и история последних лет красноречиво говорит в пользу того, что должен был наконец наступить счастливый период. Мы шли к нему, как птица, которая летит в теплые края. Но известные вам и всему миру враждебные силы решили захватить власть в свои руки и не погнушались при этом пойти на кровавые преступления, втянуть в войну наш многострадальный народ, уничтожить законно избранного президента. Поэтому мы, отстаивая законы и идеалы справедливости, равноправия, интернационализма, суверенитета, объединились в наш Фронт.

— Это правда, что вы сидели в тюрьме? — перевел оператор очередной вопрос.

— Да, — без тени эмоций ответил Кара-Огай. — Я пробыл в заключении в общей сложности девятнадцать лет.

— А за что?

— Это долгая история. Для некоторых людей я был опасен, и они сделали все, чтобы посадить меня.

«Ловко», — оценил ответ Лаврентьев. Он прекрасно знал, что Кара-Огай сроки имел за бандитизм и убийство. Лаврентьев взял за локоть Салатсупа и негромко, но внятно произнес:

— Как закончит, пусть ко мне идет. Я жду.

В кабинете он застал Ольгу. Она сказала, что на проходе дожидается генерал Чемоданов из Москвы.

— Пошли его к черту. Скажи, что у меня саммит, прибыла высокая договаривающаяся сторона. И пусть Штукин зайдет.

Ольга тихо вышла. Тут же появились Кара-Огай и Салатсуп.

— Этого я не приглашал, — резко произнес Лаврентьев, ткнув в сторону Салатсупа. — И вообще, чтобы в полку духа его не было. В гостях порядочные люди гранатой не размахивают.

— Хорошо, он подождет на улице, — миролюбиво согласился Кара-Огай.

Он уселся, стул жалобно затрещал. Лидер заерзал, положил огромные руки на карту республики, расстеленную на столе.

— Ох уж эти журналисты, никакого спасения от них нет, — произнес Лидер, будто и не было неприятной заминки. — Ну что, Евгений Иванович, не надоело тебе одному?

— Я не один — с полком.

Поздоровавшись, тихо вошел начальник штаба.

— С полком, в котором ни одного солдата? — усмехнулся Кара-Огай.

— Не я принимал идиотское решение набирать войско из твоих земляков. Паршивые, я тебе скажу, из них солдаты. И хорошо, что разбежались. Вот только все сортиры, извини, дорогой Кара-Огай, загадили. Убрать после них некому.

— Сговоримся, Евгений Иванович, верну твоих солдат, и сортиры тебе почистят, и из полка игрушку сделают. Многие ведь у меня в боевиках. В стране, где воюют, нейтралитет невозможен. Или на той стороне, или на этой. Два ястреба сойдутся — гусю погибель. А вместе быть — рекой быть, порознь — ручейками, — глубокомысленно изрек Лидер.

Лаврентьев отмахнулся:

— Знаю, знаю все твои побасенки: «Хлопок в ладони — дело двух рук», «Сплоченных баранов и волк испугается», «Одинокий конь не напылит, а напылит — не станет знаменит»... Опять тянешь меня в свои авантюры?

— Это не авантюры, это народное движение, револю-

ция за справедливость, и потому слово «справедливость» написано на моих боевых машинах.

— Остановись, уважаемый Кара-Огай. Давай по делу.

— Хорошо. Ты отказался разговаривать с моим полевым командиром, давай тогда говорить один на один.

— Гена, оставь нас.

Штукин поднялся и вышел.

Кара-Огай осмотрелся, будто впервые был в этом помещении.

— Мешки с песком... Белого света не видишь, воды нет, наверное, и постирать одежду некому.

— Это твои болваны позавчера штурм здесь устроили? — пропустив мимо ушей тираду, спросил Лаврентьев, хотя прекрасно знал, кто это был.

— Ведь сам знаешь, что не мои, зачем спрашиваешь?

— Жду, когда твои ползут. Может, сам скажешь, предупредишь?

— Резкий ты, нетерпеливый, горячий. Это все по молодости хочешь все знать. Но сразу не бывает, потерпеть надо, разобраться. А чему быть, Женя, того не миновать.... Вот война началась. Но чтобы быстро победить, нужно оружие. У нас его мало. У наших врагов тоже. Оружие есть у тебя. Ты давать его не хочешь. Тогда кто-то из нас должен его забрать. Причем забрать первым, чтоб победить и побыстрее закончить войну. Я пока правильно все говорю?

— Пока да.

— Твои начальники приказали тебе не вмешиваться: пусть эти черные друг друга колотят, лупят, это не наше дело. Так? А кто победит — с тем и говорить будем. Так? Но начальники твои не понимают, что, когда идет война, оружие рано или поздно стреляет. Правильно? Рано или поздно ты втянешься в эту войну. Трех офицеров убили у тебя? Еще убьют... Я тебе, подполковник, скажу по секрету, что фундаменталисты получили из-за грани-